



Николай СМИРНОВ

## ВТОРОЙ ХРИСТОС

*Николай Васильевич Смирнов родился в 1950 году в деревне Коровино Мышкинского района Ярославской области. Детство провёл на Кольме, куда отец, отбывающий срок по 58-й статье, вызвал семью. Окончил Литературный институт им. М.Горького. Работал журналистом, научным сотрудником в музее. Публиковался в журналах «День и Ночь», «Юность», «Волга», альманахах «Поэзия», «Тверской бульвар» и др. Автор сборников стихов и прозы. Член Союза российских писателей. Лауреат литературных премий им. Трефолева и им. Лескова. Живёт в городе Мышкин Ярославской области.*

Затяжная серая весна. Издали поле в перелесках кажется свежевспаханным. Но подойдёшь и растеряешься. Поле — мёртвое, выгоревшее. Кто-то накануне Пасхи, по весеннему озорству, как бывает из года в год, поджёг сухую траву. И вот по этому чёрному полю идёт старик: высокий, сухой, с румяным круглым лицом, голова седая, клокастая. Он в затёртой, распахнутой телогрейке, грудь навывкат, что-то доброе в его улыбке, своё и отстранённое от обычной жизни. Руки у него ужасные, похожие на лапы, ногти толстые и изогнутые, как когти: «Гнуви отрастил какие!» — говорят о таких. Он схож с мифическим дворовиком, живущим в хлеву и приглядывающим за скотиной, если бы не это мягкое, луговое выражение на лице. В мерцающей паутине морщин и в глазах тает та же вечная, что и вокруг, мягкая серая дымка.

Впереди, шагов на пятнадцать, бежит по тракторному следу собака, за спиной старика, нюхом

в спину, копытит чёрная тёлка. Лбистая, древнегреческая, как в «Илиаде». Тёлка ходит за хозяином в поселковый магазин и по всем домашним делам. Шерсть у неё поблёскивает, она так божественно красива, чиста, умна. «Понимает, что говорите?» «Лучше человека! — убеждённо отвечает старик. — Разве такую будешь резать?» И обхватывает её за шею. Тёлка осторожно, женским движением высвобождается. У него румяное по-старчески, улыбчивое лицо, и говорит он втягивая, с той же улыбкой в голосе, и глаза блестят весело. Собака оборачивается, глаза у неё по-лисий узкие, внимательные и тоже с веселинкой, как у хозяина. Вокруг, у краин полей, в берёзках, по-цпылячи нежно желтеет верба. Миновали чёрное поле, а за кустами, зияя, открывается другое, такое же выжженное, оставляющее пепел на резиновых сапогах.

Старик точно забывает о своих спутниках, толкует о том, что он эти все поля пахал с пятнадцати лет на лошади. А теперь — страшно посмотреть. Они уже лет двадцать, как заброшены...

Вдруг собака у болотца, рыжеющего в блёклой осоке, зачуяв ондатру, настораживается. Потешно копируя её позу, замирает, уставившись на воду, и тёлка. Старик идёт, не оглядываясь, толкует про землю, про свою жизнь. Друзья его рывком догоняют нас. С близки я вижу у собаки — она помесь колли и овчарки — лисий, умный и немного печальный ощур и

взгляд. И снова тёлка, деликатно ступая в лужи чистыми копытцами, идёт за спиной в двух шагах от старика. Собака бежит вперёд. Как они здесь, в омертвевшем поле и в воскрешающем вербнике, первозданны, будто это первые на земле, райские звери. Оглянется ли умно, внимательно по-лисий собака, посмотрит ли чёрными, как ночь, глазами мудрыми богини тёлка — у каждой промелькнёт свой смысл. Будто они сами по себе, будто они не служат нам, а ведут нас куда-то самостоятельно уже не по этим полям, не в этой серой земной дымке.

Этот восьмидесятилетний старик держал коров, работал с женой, а сосед молодой пил, хулиганил, завидовал. Грозил поджечь — и поджёг. Старику уступил свой дом на время дачник из Питера, а поджигатель отсидел срок и вернулся. Снова грозился сжечь и этот дом, пил, гонял свою жену, и снова его хотели судить, но утром, отправившись на суд, он повесился на берёзке, на берегу Сутки. «Здесь был я, Кротов», — оставил роспись рядом, на лавочке. А нынче перед Пасхой, когда горели сухие поля, сгорел дом и его жены. Господь рассудил, говорят они. Деревня мёртвая, с двумя пепелищами — будто по ней прошли бульдозером. Старик-дворовик с женой-инвалидкой, опирающейся сразу на две клюшки, — последние жители. Они в город, к детям, уедут — и замертвеют, начнут таять в серой дымке деревенские развалины.

«Мы уже не первый год после пожара собираемся... Да так и прожили здесь ещё три года, — рассказывал хозяин в кухне, у топящейся русской печки. — А куда собаку денешь, корову? А этих?» — резко поворачивался он, кивая на трёх кошек, развалившихся в комнате на кровати. Они ни разу не шелхнулись во сне, пока мы разговаривали, настолько были уверены в незыблемости своего маленького, уютного мира.

Собака и тёлка идут и идут, увлечённо, с одним им понятным смыслом, понимание — в их глазах и движениях, будто они знают, куда идти. Тот же смысл — против ветра и будничного рассудка — просвечивает и в облике старика: в его тонких морщинах, снежных волосах, молодцеватом, румяном лице и медленной поступи, в его словах о земле и пахоте. «Хозяин нужен земле!» Несколько раз эти замусоленные ещё в перестройку слова повторяет он, тот же, какой-то свой смысл вкладывая в них. «Вот Ленина ругают, а зря... — говорит он медленно, вровень с полем, ветром, чавканьем грязи. — К нам дачница из Питера приезжала и говорила: «Ведь Ленин — это второй Христос!»...»

Хочется ответить, что он такой же вор и шпана, как нынешние. Но я молчу. И думаю. Вот наше христианство! Оно сгорело, как сухая трава на этих заброшенных полях. Но в этой сожжённой, униженной земле и старике, не понимающем, что же случилось с полями, которые он пахал с пятнадцати лет, и в этой древнегреческой тёлке, и в

собаке — они идут и идут, будто ведут нас куда-то — что-то есть выше растерянности, потерянности и уныния серой затяжной весны. И они идут и идут, странное шествие: старик-дворовик, тёлка, собака — по чёрному полю, как смысл этой земли; и даже в умершей этой земле, и в этих умных скотах с райским пониманием в загадочных глазах светит Бог — любовь.

## **КОСТЫЛИ НА ПЕПЕЛИЩЕ**

Сентябрьское утро. Колёса катя по толстой, влажноватой от росы пыли. Уже с холодком стекленеют дали в берёзовых прогалах, выглянувшее придорожное село, — весь мир точно мерцает в тонкости воздуха и белости туманца и мерцанием как отстраняется от людей: молодой смех, слова, даже звук тележного колеса, шаркнувшего о камень, — приглушены и тотчас уничтожаются, словно мир не выпускает их в себя. И всё слышнее, что и разговор людей, и их молчание отягощает откуда-то точащаяся из мира и точно нездешняя забота. А и своей, сердечной, у них хватает, потому что едут они, милиционер Комиссаров и мой отец, в Рыбинск, в колонию, там отцу набавят срок и увезут на Колыму. Но домой он попадёт только через двенадцать лет. По кондовым пням, оставшимся от сосен, найдут с матерью дорогу, уходящую в Волгу, к затопленной деревне, где стояла их изба. По дороге медленно спустится отец к последнему пню, сырому, у самой

воды, и тут подберёт из камней ржавый гвоздь-костыль.

Мать уже пошла в Охотино, к церкви, на кладбище, на родные могилки и, обернувшись, увидела, что отец наклонился над чёрным, свиловатым пнём. Воткнул костыль в трещину и ударил по нему камнем. Удар вышел тупым, неловким. Мать позвала его. Он в ответ ударил сильнее. Камень дресвяный расселся, больно прищемив кожу на ладони, и звук его сломался. Костыль погнулся, не шёл в свиль.

— Сейчас! — крикнул отец и, выбрав другой камень, с тем же лицом, с каким плотник, сидя верхом на венце, рубит топором, долго лепил удары в заблестевшую шляпку.

Когда в молчании родители мои дошли до ворот кладбища, «вбил для приметы, что я здесь был», — сказал отец беззаботно...

Дорога, по которой Комиссаров увозил отца в Рыбинск, была уже вымощена диким камнем. И мать вспоминала про мостильщиков: заключённые, мороз, а они идут в лаптях, и голые пятки светят:

— Я гляжу на них и думаю: вот так же, наверно, и мой...

В первую же колымскую зиму большинство заключённых из той партии, в которой был отец, умерло. Он едва ходил от голода, за каждый прутик запинался. Весной украл муки из палаточного склада и убежал в тайгу. Далеко от лагеря не отходил, чтобы не заблудиться. Осенью снова вышел к лагерю, его схватили и привели

к начальнику ОЛПа. Топилась печка. Отец остановил взгляд на тяжёлом лиственничном полене, на красной коре трепетал живой отсвет огня. Он думал, что у него не хватит сил схватить это полено и убить им начальника ОЛПа. Начальник ОЛПа вынул пистолет и наставил на отца:

— Застрело!

Отец шагнул смело:

— Стреляй, мне всё равно смерть...

— Ты работать будешь?

— Если будете кормить и дадите одёжу — буду...

Отца избили, но одежду и обувь в тот же день выдали. Он остался жив, отбыл срок. Выпросился в отпуск на Волгу и увёз мать на Колыму. Там мы, дети, увидели человеческие кости, лежащие поверх земли. Надев череп на могильную тычку, мы выстроились в ряд и крикнули:

— Расстрел! — и замахнулись камнями.

Первые, самые тяжёлые, не долетели. Подступили в азарте ближе, я схватил кругляш полегче, и череп покосился от удара — раздался сухой скрежет рассевавшейся кости. Я так и остановился с вытянутой рукой, будто кто-то схватил её... На черепе, на виске, топорщилась гробовая щетинка рыжих волос.

Сколько бы ни прошло времени с того дня, я буду выдумывать себе оправдание, что мёртвую голову ту в жизни носил убийца или вор. И будет тревожить меня откуда-то возникающий образ его матери: старухи, бредущей в

светлой колымской долине по могильному галечнику и горстями прижимающей к груди жёлтые, волокнистые осколки...

В восемнадцатилетнем возрасте по одному из случайных дел вошёл я в деревенский двор, уютно обставленный сугробами. Молодцевато валил дым из трубы в ясную морозную тихость. Хозяин был пожилой, на плечах — телогрейка внакидку, глаза голубые, речь плавная и убедительная... Папироса его часто гасла, он несуетливо чиркал спичкой, затягивался. И я за его словами увидел опушку леса в Белоруссии — перед ней красное сугробное поле: снег горит от утренней зари. В поле, на пригорке, метрах в восьмистах от леса — чёрное горелое место.

На этом месте вчера майор с заезжей актрисой в землянке начали справлять Новый год. В полночь пьяный майор без шапки, в расстёгнутом кителе вылез на воздух и приказал поздравить немцев.

— Мы слышим: немцы пьяные... Чу, на губных гармошках играют — попытались майора остановить. Что им наша пушечка? Мы же только разведка артиллерийская! Куда там! Приказывает: огонь!

Хозяин наклонился ко мне с мягким укором, будто перед ним сидел тот майор... Помолчал, пока, исполняя пьяный приказ, солдаты зарядят пушечку...

— Два выстрела только и успели сделать... даже залечь не успели.

Разошлись немцы, замолотили. Поднялись в атаку, вырезали роту штрафников — они недалеко от нас, на пригорке стояли... Ну, хорошо они нас поздравили. Майору первым же снарядом голову снесло. Отошли мы снова в лес. А они к себе, в деревню... Утром генерал смотрит туда в бинокль и спрашивает: почему не вынесли майора?

— А зачем? — спросил я.

— Да ты что? — поднял брови и открыл рот хозяин, от этого лицо его вытянулось, и сам он чуть приподнялся с табуретки: — У него там документы, партийный билет!

— Ну, слышу, говорят... — он насуровился надменно, изображая генерала. Мотнул головой через плечо, показывая головой на кого-то позади себя:

— Давай пошлём казахов, всё равно они доходяги, помрут... Казахи поползли, только метров пятьдесят и успели — по ним из пушки! У меня из разведки один уцелел, давай, говорят, посылай его. Я послал... Не успел он до казахов доползти — снарядом!

Хозяин наклонился ко мне — глаза в глаза:

— Ну, Иваныч, давай ты ползи, больше посылать некого...

И он долго, и жалуясь, и укоряя глазами, смотрел на меня, смотрел, всё глубже уходя лицом в накипающую обиду: переживал, пока всё вызванное заново увидится. И, смирившись с приказом умереть, всё лицо его засуетилось, сменяя выражение за выражением. Торопливо, буднично жаловались его слова:

— А как я поползу без рукавиц? Мороз тридцать градусов. Ночью, когда ранило лошадь, я схватил её под уздцы, хотел удерживать, она встала на дыбы, рукавицы так и остались на гужах... Да чего, думаю, буду я без рукавиц ползти? Пока ползу — всё равно замёрзну. Снег по пояс...

Хозяин выпрямился и распахнул полы телогрейки:

— Взял и встал! — радуясь и победно удивляясь на самого себя, блестя глазами, сказал он. — И дошёл. Ни разу не выстрелили! И обратно — в полный рост!

Он принял прежнюю позу, заговорил сурово, виновато, с той сдержанной изумлённостью, которая втесняется в жесты и голос человека, когда перед ним мёртвый. Шаркнул локтем перед собой — содрал куски примёрзшего мозга с майорова бинокля. Всё больше изумляясь внутренне, показал руками, как он вынул из кармана партийный билет, наградные документы. Подсунув ко мне сухую ладонь, он раскрыл портсигар и задумался над ним: хотел оставить, да, думаю, зачем ему теперь папиросы? Мимолётно глянул на меня: не осуждаю ли? Посмотрел грустно, напоминая на фотографию жены и девочки-подростка. С усилием оборвал это печальное рассматривание. Торопливо, видимо, сам не зная, зачем, сунул и фотографию за борт своей, нынешней, внакидку телогрейки.

— Потом я нашёл свою стереотрубу. За неё могли бы под суд отдать! — доверительно качнулся

он ко мне. И вдруг вскинулся отчаянно:

— А его я не потащу! Мне не дотащить его без рукавиц! — смеясь и ждуще откидываясь назад, выговаривал он. И тотчас же это выражение отчаяния проломилось на его лице, лицо всё сделалось новым — это прежние его жалоба и укор, но уже очищенные, ни к кому, как я почувствовал, не обращённые, засияли в глазах, и долго, обжигающе тянулся миг; и, шумно всхлипнув, шепнул мне сдавленно:

— Семь зим в снегу провалялся, а за что?

Лицо его сморщилось судорожно и точно уменьшилось. Ещё не справившись со слезами, стал спрашивать:

— Перестали за ордена платить — раньше платили... Может, снова платить будут, вы не слышали?

А сам смотрел печально, внимательно и так, будто спрашивал не о деньгах.

Я растерянно ответил, что не знаю.

— А ты чей? — другим, трезвеющим голосом спросил он.

Я назвал своих родителей.

— Чей, чей? — снова переспросил он... — А-а-а, вон кого! — протянул узнающе, и, пока тянул, лицо его словно всплыло из глубины: туман слёз истаял, и все черты стали суше.

— А что, вы знаете моего отца?

Он кивнул.

Когда я спросил отца о Комиссарове, отец, помолчав, повернулся на вопрос. Почти так же, как Комиссаров, сказал: «И обратно

— в полный рост!» — с посветлевшим лицом, с укорной тихостью, словно в чём-то признаваясь себе, выговорил:

— Знаю. Он сопровождал меня в Рыбинск...

Я удивился и порадовался тихо, что лица у разных людей могут быть так похожи. Словно глаза вечной всепрощающей матери, у всех одной, заглянули им в душу и в моей смягчили памяти и того майора, и того безымянного человека, кого я, оправдываясь в жестокосердии, называл убийцей и вором.

## **СКРИП ДВЕРИ**

В этой церкви крестили и как-то раз в детстве причащали меня, и я помню летний, певучий, несущийся ввысь объём храма, и там, под куполом, полые солнечные лучи, и в них, как с жёрдочки золотой на золотую, перелетали голуби. И я, дивясь, спросил у своей тётки: «Как они сюда попали?»

«Это души мёртвых прилетели», — ответила она. Я не поверил, но потом присмотрелся, увидел лёгкое сияние вокруг них, увидел, что их никому не достать, и поверил.

Теперь уже лет двадцать, как храм закрыт, раскатаны восковые свечи по полу, выбиты окна, свезены в болото божественные книги, по-дурацки громко и бессмысленно скрежещет репродуктор над кладбищем, и почти у самой церковной ограды вывеска «Дом отдыха». В этой же церкви крестили и моего деда, и моих

умерших братьев — все они лежат здесь, под косматыми, уже не похожими на могилы дернистыми буграми. Скоро кладбище заровняют бульдозером, и вот я пришёл сюда и вспомнил не древних и бородатых из нашей «родовой», а первенца моей матери, его звали так же, как и меня, прожил он всего год и одиннадцать месяцев.

За две недели до его смерти матери приснился сон, что он пошёл играть на задворки, к бане, упал в пруд, она прибежала, вытащила, стала качать, но изо рта и носа у него хлынула кровь, а не вода.

Сорок лет назад здесь по жаре, в мелководье, переходили Волгу вброд, а теперь, залив не одно пепелище, выжитая из вековечного лона, подступила она к самому селу и покачивает в застойных водах смутное отражение когда-то такого далёкого, высокого купола... Теперь жара, как в том неведомом июле, и металлически посверкивают изменчивые грани волн там, где, как говорят старики, «самая глыбь» и где как раз стояла «глаголем» деревня Манцурово. Ветерок наносит запах деревянной затопленной баржи, снизу разъедаемой водой, а сверху сжигаемой жарким над гладью солнцем. Может быть, там, за восковой желтизной глыби, в околдонной илистой тьме рождается этот запах — так мне сегодня думается. Рождается там, где тяжелы и черны, как чугуны, вьёвшиеся в ил забытые брёвна и иструхшее железо кованого топора. Там багровые, как георгины, рассыпавшиеся кирпичи, и



роется налим в наносе. И где-то там же тёплая, хорошо убитая голыми пятками тропинка, кое-где укрытая листом смело лёгшего под ноги лопуха. Это тропинка от избы до бани — такую успел пройти за свою жизнь мой умерший братик... Почему он выбрал её и как долго шёл по ней первый раз, когда старая бабушка выпустила его из избы? Зачем он потрогал затопорщившийся беловатыми пупырышками лист лопуха? Теплел, серебрясь брёвнами, маленький сруб, и большие блестящие мухи перелетали с бревна на бревно каждая со своим жужжанием. Вровень с низкой крышей торчали красные головки татарника. И такая тут легла тишина, ждущая, подкрадывающаяся, что он хоть и боялся, но потянул — потянул на себя железную скобу двери. Она нарочно не поддавалась ему в первый раз, или была крепко закрыта, и он, сделав вид, что ни о чём не догадался, сам нарочно по-быстрому добрался до избы, и бабушка стала ругать его, пугать «стариком» и спрашивать, где он шлялся. Он сначала хотел рассказать, что он видел, но слова всё таяли в дыхании...

А видел он, как там тихо, так тихо, что громче стараются жужжать мухи, выше торчат красные головки, и пруд сквозь неподвижность — сильнее блеснуть, а осока — притворно махать, пугая стрекоз; братик мой подумал, что бабушка всё это знает и посмотрел на неё глазами спокойно удивлёнными и вопросительными. И, улыбаясь, пролепетал, что он был

у бани. Бабушка стала кричать: «Эвон, где ты шлялся! Зачем — утонуть хочешь?» Он хотел ей ответить, зачем: про дверь — но она ругала его всё громче. Потом пришла и мать, и отец, и все были недовольны, что он ходил к пруду. А мальчик понял, что они всё-таки что-то знают про дверь, и одновременно то, что он знал про неё смутно, — стало ему хорошо понятно.

На время он забыл про тропинку, или испугался пруда, или бабушка пасла его строже... Но однажды... Это было в день, когда сосед, о котором мальчик не раз вспоминал про себя: «Почему его нет?» — вдруг подошёл к тыну и веером держал сладких петушков на палочках. И в них играло солнце, и хорошо было смотреть сквозь них: хоть и ничего не видно, а всё равно красиво. Бабушка вышла из избы говорить с соседом, мальчик радовался петушкам и не заметил сам, как оказался перед тропинкой. Ступил первый шаг, и узкая, вдавленная спина её была так горяча, что он сразу сделал ещё пять шагов подряд и, глубже засунув в рот петушка, пошёл — трава обочь была ему как раз до холщовой рубашонки.

Потом он испугался пруда: осока не шевелилась, и зазубрины её сверкали, как на серпе, и были такие большие, что на них можно было положить палец. Как раз о таком пруде рассказывала бабушка, из-за такой осоки звала подплыть Баба Яга Лутонюшку. Он отвернулся от пруда и пошёл быстрее. И баня знакомо отеснила



воронёный мёртвый глянец воды, дыхнула на него теплом, звоном мух, и краснелись приветливо головы татарника, и он спрятался сначала под крышу одного тяжёлого листа у суставчатого, задервенелого стебля. Положил рядом петушков...

Наконец встал и, воздев ручки, наморщившись, начал дёргать за обжигавшую ладони скобу. И вдруг она поддалась, сначала притворяясь тихой, едва подскрипнула, а с половины роста загремела, заржала — он отпустил её, и, задевая лицо, негодуяще чиркали слюдяные мухи. Он посмотрел на тропинку и на траву над ней... на небо, и за ещё не утихшими, не улёгшимися ржавыми звуками увидел небо над срубом бани, как со дна глубокого колодца, — нежное, далёкое, как смех принёсшего янтарных петушков, и тропинка до избы, где вроде угадывался бабушкин голос, была длинной, бежала куда-то вверх, тоже как со дна колодца.

Увидав это, он заглянул в тёмное, нежилым духом пахнущее нутро бани и вдруг страшно испугался, заплакал, побежал по тропинке.

Бабушка, узнав, что он прибежал от бани, стала ругаться, пугать его «стариком». Тут он заплакал совсем безутешно. Такой был красивый, весёлый мальчик, повторяла потом бабушка Авдотья. И она пожалела его в сердце, хотя с виду не уступала, и стала ещё сердитее, и закричала ещё громче, и показывала, грозясь, на

крапиву. А он плакал безутешно и, задыхаясь, искал глазами соседа — ведь петушки-то остались там, под лопухом. Один сосед из всех людей сходил бы с ним.

Бабушка хоть и закричала: «Не пойду, не пойду!» — но была уже на тропинке; он быстро отыскал петушков, а она с упрёком затворяла дверь, и он слушал вороний железный голос... «Старика там нет?» «Нет там никого, это баня». «А под полком?» «И под полком нет... пойдём!» Но он выплакался, осмотрелся и, сосредоточившись, потянул на себя дверь. И снова стоял оглушённый, не слыша бабушки, и небо далеко синело, как со дна колодца, и желобок тропинки вёл в даль и высь. И бабушка оставила его затворять и отворять дверь, и слушать.

А мать говорила: «Не ходи, упадёшь в пруд!» Потом она сама увидела его у двери и пожалела его наморщенной задравшейся рубашонки и вставших на цыпочки, перемазанных в земле ножек.

А через две недели он умер — и мучился недолго: изо рта и носа у него хлынула кровь, как во сне, который приснился матери перед этим. И сон этот исполнился до конца, и мать действительно будто выгатила его вон из-под той металлической ряби за белым бакеном: оставила мне этот рассказ о нём. И вся его жизнь для меня — в тридцать взрослых шагов тропинка — как случайно приснившийся сон. Станет и моя со временем таким же сном. Оба сна сольются, и в их нездешних

слоях, верю я, мы встретимся. Там бездны пострашнее и поглубже той, что поглотила деревню Манцурово, и когда душа начнёт проходить их — жадно скрежещущую дверь посмертных мытарств отворит мне мальчик, никогда мной не виданный братик. Я смотрю на его красивое, серьёзное личико, и мне не страшно перед далёким путём.

## **СОНИНА БАБУШКА**

Старуха посмотрела на фиолетовые, свежие почки бузины, вытянувшейся неприметно у самой стены крыльца, и пошла на реку. Там неровный, пожелтевший лёд, длинные, точно скалящиеся трещины через всю ширь. На обмелевший песчаный берег вылез и осел пласт льда; старуха неловко, так, что кровь прилила к голове, наклонилась и заглянула под него в щель, в холодок. Выражение озабоченности, терпеливости и привычной уже печали было на её лице. Подобрала мимоходом несколько больших щепок на дрова.

Сильные утренние лучи матовыми столпами стояли в слоистом радужном тумане, на той стороне реки воздушно темнел и казался близким сосняк. Началось всё будничное, дневное, такое же, как и вчера. Но всякая из мыслей, вырастая, вдруг вырывалась из сердца и уносилась к русой, улыбающейся девочке в платице горошком, перешитом из оставшегося после матери. Отца её, старухино сына, убили на фронте, мать умерла. Старуха

одна растила девочку и стала уже говорить ей: вот скоро, Соня, ты выйдешь замуж, — но в прошлом году внучка погибла: в ненастье перевернулась лодка, из тех шестерых, что были в ней, выплыли лишь две сестры, они подбадривали друг друга и так доплыли до мели, побрели по осоке к берегу, и тут старшая упала и умерла от разрыва сердца. Из утонувших нашли лишь старика-лодочника. Спасшаяся девочка не могла вспомнить, как погибла Соня.

В воскресенье, на Благовещенье, старуха ходила в церковь, в Охотино, строгая, в праздничном платке, слегка согбенная, под высокими, крутыми бровями глаза озабочены одной думой. Побывала на могилке Сониной матери и пошла вниз, к Волге, как раз туда, откуда отчалила лодка. Воздух блистающий, вся земля уже оголилась, а Волга ещё нестерпимо белеет в серо-жёлтых берегах, слепит рыхлым, хрустящим под ногами покровом.

Старуха подошла к мутной закраине, долго глядела в тёплую, тронутую ясным парком даль. Ходила долго по берегу, но Сони нигде не нашла, ни клочка её синего, в горошек, платица. Сильно устала, сегодня она ничего ещё не ела, да и не хотелось. Огромный, высокий мир, такой ясный и прозрачный сверху и везде озарённый внизу; и, как обычно, ей не верилось, что Соня может в нём где-то затеряться...

Она шла, деловито переставляя клюшку, и думала, что надо и завтра не поленишься — сходить,

поискать, пока ещё не поднялась вода, и не затопило берега.

Искала и на другой день, и всю неделю, и в ледоход, и позднее. Всегда, когда оказывалась у воды, хоть немного, а искала. Осенью стала ходить за клюквой на болото и оттуда, делая большой крюк к Волге, заходила на разные места, глаза видят ещё хорошо, далеко. И всё оборачивалась, когда в ветер за спиной волны начинали плескаться, шлёпать, и иногда получался какой-то чавкающий, живой звук...

Мальчик чуть постарше её Сони не сел в лодку в тот день...

— Я, бабушка, уже было собрался туда залезать, да словно что-то меня подтолкнуло — взял и не поехал! — рассказывал он Сониной бабушке, и то, какой была сама Соня, и где она сидела. Лодка поплыла не там, где всегда была переправа, а на новом месте, как раз против Охотина. И никто не видел, как лодка перевернулась, пока выплывшая девочка не добежала и не закричала.

— И что же Соня сказала? — спрашивала каждый раз бабушка у мальчика.

— Да ничего вроде, молчала, только и сказала, что холодно, — отвечал каждый раз мальчик.

А на другой год, разогнавшись на салазках с обледенелой насыпи у моста на Юхоти, мальчик выехал на тонкое место и проломился под лёд; когда его вытащили, он уже застыл и сердце у него остановилось. Выплывшая девушка

уехала в город, и некому больше стало рассказывать бабушке, какой была в последний день её Соня.

Но бабушка всё будет ходить по берегу и искать. Щёки у неё ввалятся, и от этого глаза под высоко гнутыми бровями станут ещё крупнее и будто наполнятся тем же весенним светом, который сияет на мартовских снежных просторах. Умрёт она внезапно, вечером, и люди скажут: неужели? Днём ещё ходила по заплеску... И через десять лет помянут: бабушка-то три года ходила по берегу, всё искала внучку...

Теперь уже редко кто помнит про этот случай, забыты и тринадцатилетняя внучка, и бабушка, и много других, когда-то им близких или просто знакомых людей. Но почему же всё верится, что осталось в этой жизни безмерно много, и оставшееся не только возместит, но и превысит потерю. Осталось всё сокровенное, что связывает нашу жизнь с тем, что было век, и два, и три века назад. Наверно, это и можно назвать в полном смысле самой жизнью, ведь кончается жизнь, когда перестают чувствовать невозвратимость потери... Не сие едино помышляй, яко мертво тело моё уже, но паче помысли, коль тяжко и горько, и болезненно, туги и тоски неизреченной исполнено бывает, человеческому естеству смерть...

Когда помнишь это, то родится и сила жить, связывать будущее

с прошедшим и верить в ясный  
вверху и освещённый понизу  
мир, где гуляет водная под ветром  
ширь и проносится, скользит бе-  
лоснежная чайка, как ласковый,  
беззвучный зов: Соня! Со-о-оня!..

## **НОЧНАЯ ПАХОТА**

Паня из деревни Петряево в  
войну была бригадиром женской  
тракторной бригады. Пахали на  
колёсных тракторах и днём, и но-  
чью. Несильный, жёлтый, казав-  
шийся Пане таким таинственным  
свет полз по полю, озарял венец  
сырой борозды, так же таинствен-  
но передаваясь и душе её, и мыс-  
лям. Над всей Россией тьма, ни  
огня, ни звезды в ночи, а она не  
спит; и в сами мысли не верилось  
иногда, их съедали рокот и тряска  
двигателя. И она, будто вдвигаясь  
в иное время, в иную страну, ви-  
дела, как светлела и холодела в  
росе борозда к рассвету, и в свете  
фар появлялся колючий, низкий  
парок тумана.

Раз после полуночи, в самую  
темень, она пахала холм, трактор  
натужно взбирался на бугрину  
и там, лучами фар отрываясь от  
земли, слепо тыкался в близкое

небо, такое же тёмное, как пашня.  
Вдали в нём ответно отзывалось  
сияние... всем мыслям призрач-  
ным, ночным, которые днём ка-  
жутся странными. И вдруг Паня  
увидела, как по качающейся ряд-  
нине луча идёт человек, будто  
завёрнутый в простыню. Христос  
— сразу же узнала она; спускается  
с неба спокойно, медленно и смо-  
трит на неё синими глазами: она  
их больше почувствовала, чем  
разглядела. Идёт — прошёл над  
миром ночным и пропал.

Она никому не рассказывала о  
своём видении, боялась, что дев-  
чонки засмеют: «Ещё бригадир!»  
Было это в 1943 году... Только ма-  
тери. Мать лишь переспросила и  
стала молиться: «Грехов много!»  
И лицо у матери такое, будто это  
она видела Христа живого, а не  
Паня. Невыразимое лицо. Долго  
ещё говорила, что грехов много,  
не могла успокоиться. Сыновей у  
неё убили на фронте. В старости  
мать ослепла. Паня забыла о том  
ночном видении на пахоте. Боль-  
ше никогда не видела. Она умер-  
ла в Петряеве от рака. После неё  
в деревне осталась ещё одна жи-  
тельница, последняя, тоже слепая  
одинокая старуха Тараканова.